

А.П. Чехов

Володя

В одно из летних воскресений, часов в пять вечера, Володя, семнадцатилетний юноша, некрасивый, болезненный и робкий, сидел в беседке на даче у Шумихиных и скучал. Его невеселые мысли текли по трем направлениям. Во-первых, на завтра, в понедельник, ему предстояло держать экзамен по математике; он знал, что если завтра ему не удастся решить письменную задачу, то его исключат, так как сидел он в шестом классе два года и имел годовую отметку по алгебре $2\frac{3}{4}$. Во-вторых, его пребывание у Шумихиных, людей богатых и претендующих на аристократизм, причиняло постоянную боль его самолюбию. Ему казалось, что м-ме Шумихина и ее племянницы глядят на него и его татап, как на бедных родственников и приживалов, что они не уважают татап и смеются над ней. Раз он нечаянно подслушал, как м-ме Шумихина говорила на террасе своей кухни Анне Федоровне, что его татап продолжает еще молодиться и наводит на себя красоту, что она никогда не платит проигрыша и имеет пристрастие к чужим ботинкам и к чужому табаку. Каждый день Володя умолял татап не ездить к Шумихиным, описывал ей, какую обидную роль играет она у этих господ, убеждал, говорил дерзости, но та, легкомысленная, избалованная, прожившая на своем веку два состояния — свое и мужнино, всегда тяготевшая к высшему обществу, не понимала его, и Володя раза два в неделю должен был провожать ее на ненавистную дачу.

В-третьих, юноша ни на минуту не мог отделаться от странного, неприятного чувства, которое было для него совершенно ново... Ему казалось, что он был влюблен в кухню и гостью Шумихиной, Анну Федоровну. Это была подвижная, голосистая и смешливая барынька, лет тридцати, здоровая, крепкая, розовая, с круглыми плечами, круглым жирным подбородком и с постоянной улыбкой на тонких губах. Она была некрасива и не молода — Володя отлично знал это, но почему-то он был не в силах не думать о ней, не глядеть на нее, когда она, играя в крокет, пожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной или же после долгого смеха и беготни по лестницам падала в кресло и, зажмурив глаза, тяжело дыша, делала вид, что ее груди тесно и душно. Она была замужем. Ее муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу, отлично высыпался и возвращался назад в город. Странное чувство началось у Володи с того, что он беспричинно возненавидел этого архитектора и радовался всякий раз, когда тот уезжал в город.

Теперь, сидя в беседке и думая о завтрашнем экзамене и о татап, над которой смеются, он чувствовал сильное желание видеть Нюту (так Шумихины называли Анну Федоровну), слышать ее смех, шорох ее платья... Это желание не походило на ту чистую, поэтическую любовь, которая была знакома ему по романам и о которой он мечтал каждый вечер, ложась спать; оно было странно, непонятно, он стыдился его и боялся, как чего-то очень нехорошего и нечистого, в чем тяжело сознаваться перед самим собой...

— Это не любовь, — говорил он себе. — В тридцатилетних и замужних не влюбляются... Это просто маленькая интрижка... Да, интрижка...

Думая об интрижке, он вспоминал про свою непобедимую робость, про отсутствие усов, веснушки, узкие глаза, ставил себя в воображении рядом с Нюту — и эта пара казалась ему невозможной; тогда спешил он вообразить себя красивым, смелым, остроумным, одетым по самой последней моде.

В самый разгар мечтаний, когда он, сторбившись и глядя в землю, сидел в темном уголке беседки, слышались легкие шаги. Кто-то не спеша шел по аллее. Скоро шаги затихли и у входа мелькнуло что-то белое.

— Есть здесь кто-нибудь? – спросил женский голос.

Володя узнал этот голос и испуганно поднял голову.

— Кто тут? – спрашивала Нюта, входя в беседку. – Ах, это вы, Володя? Что вы здесь делаете? Думаете? И как это можно все думать, думать, думать... этак можно с ума сойти!

Володя поднялся и растерянно поглядел на Нюту. Она только что вернулась из купальни. На ее плечах висели простыня и мохнатое полотенце, и из-под белого шелкового платка на голове выглядывали мокрые волосы, прилипшие ко лбу. От нее шел влажный, прохладный запах купальни и миндального мыла. От быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ее блузы была расстегнута, так что юноша видел и шею и грудь.

— Что же вы молчите? – спросила Нюта, оглядывая Володю. – Невежливо молчать, когда с вами говорит дама. Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы все сидите, молчите, думаете, как философ какой-нибудь. В вас совсем нет жизни и огня! Противный вы, право... В ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться.

Володя глядел на простыню, которую поддерживала белая, пухлая рука, и думал...

— Молчит! – удивлялась Нюта. – Это даже странно... Послушайте, будьте мужчиной! Ну, хоть улыбнитесь! Фуй, противный философ! – засмеялась она. – А знаете, Володя, отчего вы такой тюлень? Оттого, что не ухаживаете за женщинами. Отчего вы не ухаживаете? Правда, здесь барышень нет, но ведь вам ничто не мешает ухаживать за дамами! Отчего вы, например, за мной не ухаживаете?

Володя слушал и в тяжелом, напряженном раздумье почесывал себе висок.

— Молчат и любят уединение только очень гордые люди, – продолжала Нюта, отдергивая его руку от виска. – Вы гордец, Володя. Почему вы смотрите исподлобья? Извольте мне глядеть прямо в лицо! Да ну же, тюлень!

Володя решил заговорить. Желая улыбнуться, он задержал нижней губой, замигал глазами и опять потянул руку к виску.

— Я... я люблю вас! – проговорил он.

Нюта удивленно подняла брови и засмеялась.

— Что слышу я?! – запела она, как поют оперные певцы, когда слышат что-нибудь ужасное. – Как? Что вы сказали? Повторите, повторите...

— Я... я люблю вас! – повторил Володя.

И уж без всякого участия своей воли, ничего не понимая и не соображая, он сделал полшага к Нюте и взял ее за руку выше кисти. В глазах его помутилось и выступили слезы, весь мир обратился в одно большое, мохнатое полотенце, от которого пахло купальней.

— Bravo, bravo! – услышал он веселый смех. – Что же вы молчите? Мне хочется, чтобы вы говорили! Ну?

Видя, что ему не мешают держать руку, Володя взглянул на смеющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взял обеими руками ее за талию, причем кисти обеих рук его сошлись на ее спине. Он держал ее обеими руками за талию, а она, закинув на затылок руки и показывая ямочки на локтях, поправляла под платком прическу и говорила спокойным голосом:

— Надо, Володя, быть ловким, любезным, милым, а таким можно сделаться под влиянием только женского общества. Однако, какое у вас нехорошее... злое лицо. Надо говорить, смеяться... Да, Володя, не будьте букой, вы молоды и успеете еще нафилософствоваться. Ну, пустите меня, я пойду. Пустите же!

Она без усилия освободила свою талию и, что-то напевая, вышла из беседки. Володя остался один. Он пригладил свои волосы, улыбнулся и раза три прошелся из угла в угол, потом сел на скамью и улыбнулся еще раз. Ему было невыносимо стыдно, так что даже он удивлялся, что человеческий стыд может достигать такой остроты и силы. От стыда он улыбался, шептал какие-то несвязные слова и жестикулировал.

Ему было стыдно, что с ним только что обошлись, как с мальчиком, стыдно за свою робость, а главное за то, что он осмелился взять порядочную замужнюю женщину за талию, хотя ни по возрасту, ни по своим наружным качествам, ни по общественному положению он, как ему казалось, не имел на это никакого права.

Он вскочил, вышел из беседки и, не оглядываясь, пошел в глубину сада подальше от дома.

«Ах, поскорее бы уехать отсюда! – думал он, хватая себя за голову. – Боже, поскорее бы!»

Поезд, на котором должен был ехать Володя с татап, отходил в восемь часов сорок минут. Оставалось до поезда около трех часов, но он с наслаждением ушел бы на станцию сейчас же, не дожидаясь татап.

В восьмом часу он подходил к дому. Вся его фигура изображала решимость: что будет, то будет! Он решился войти смело, глядеть прямо, говорить громко, несмотря ни на что.

Он прошел террасу, большую залу, гостиную и остановился в последней, чтобы перевести дух. Отсюда слышно было, как в соседней столовой пили чай. М-ме Шумихина, татап и Нюта о чем-то говорили и смеялись.

Володя прислушался.

— Уверю вас! – говорила Нюта. – Я своим глазам не верила! Когда он стал объясняться мне в любви в даже, представьте, взял меня за талию, я не узнала его. И знаете, у него есть манера! Когда он сказал, что влюблен в меня, то в лице у него было что-то зверское, как у черкеса.

— Неужели! – ахнула татап, закатываясь протяжным смехом. – Неужели! Как он напоминает мне своего отца!

Володя побежал назад и выскочил на свежий воздух.

«И как они могут говорить вслух об этом! – мучился он, всплескивая руками и с ужасом глядя на небо. – Говорят вслух, хладнокровно... И татап смеялась... татап! Боже мой, зачем ты дал мне такую мать? Зачем?»

Но идти в дом нужно было, во что бы то ни стало. Он раза три прошелся по аллее, немного успокоился и вошел в дом.

— Что же вы не приходите вовремя чай пить? – строго спросила м-ме Шумихина.

— Виноват, мне... мне пора ехать, – забормотал он, не поднимая глаз. – Матап, уж восемь часов!

— Поезжай сам, мой милый, – сказала томно татап, – я остаюсь ночевать у Лили. Прощай, мой друг... Дай я тебя перекрещу...

Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь к Нюте:

— Он немного похож на Лермонтова... Не правда ли?

Кое-как простившись и не взглянув ни на чье лицо, Володя вышел из столовой. Через десять минут он уж шагал по дороге к станции и был рад этому. Теперь уж ему не было ни страшно, ни стыдно, дышалось легко и свободно.

В полуверсте от станции он сел на камень у дороги и стал глядеть на солнце, которое больше чем наполовину спряталось за насыпь. На станции уж кое-где зажглись огни, замелькал один мутный зеленый огонек, но поезда еще не было видно. Володе приятно было сидеть, не двигаться и прислушиваться к тому, как мало-помалу наступал вечер. Сумрак беседки, шаги, запах купальни, смех и талия — все это с поразительной ясностью предстало в его воображении и все это уж не было так страшно и значительно, как раньше...

«Пустьяки... Она не отдернула руку и смеялась, когда я держал ее за талию, – думал он, – значит, ей это нравилось. Если б ей это было противно, то она рассердилась бы...»

И теперь Володе стало досадно, что там, в беседке, у него было недостаточно смелости. Ему стало жаль, что он так глупо уезжает, и уж он был уверен, что если бы тот случай повторился, то он был бы смелее и проще смотрел бы на вещи.

А случаю повториться нетрудно. У Шумихиных после ужина долго гуляют. Если Володя пойдет гулять с Нютой по темному саду, то — вот и случай!

«Вернусь, — думал он, — а уеду завтра с утренним поездом... Скажу, что опоздал к поезду».

И он вернулся... М-ме Шумихина, матан, Нюта и одна из племянниц сидели на террасе и играли в винт. Когда Володя солгал им, что опоздал к поезду, они обеспокоились, как бы он завтра не опоздал к экзамену, и посоветовали ему встать пораньше. Все время, пока они играли в карты, он сидел в стороне, жадно оглядывал Нюту и ждал... В его голове уж готов был план: он подойдет в потемках к Нюте, возьмет ее за руку, потом обнимет; говорить ничего не нужно, так как обоим все будет понятно без разговоров.

Но после ужина дамы не пошли гулять в сад и продолжали играть в карты. Играли они до часа ночи и потом разошлись спать.

«Как это все глупо! — досадовал Володя, ложась в постель. — Но ничего, погожу завтрашнего дня... Завтра опять в беседке. Ничего...»

Он не старался уснуть, а сидел в постели, обняв руками колена, и думал. Мысль об экзамене была ему противна. Он уж решил, что его исключат и что в этом исключении нет ничего ужасного. Напротив, все очень хорошо, даже очень. Завтра он будет свободен, как птица, наденет партикулярное платье, будет курить явно, ездить сюда и ухаживать за Нютой, когда угодно; и уж он будет не гимназистом, а «молодым человеком». А остальное, что называется карьерой и будущим, так ясно: Володя поступит в вольноопределяющиеся, в телеграфисты, наконец, в аптеку, где дослужится до провизора... мало ли должностей? Прошел час-другой, а он все сидел и думал...

В третьем часу, когда уж светало, дверь осторожно скрипнула и в комнату вошла матан.

— Ты не спишь? — спросила она, зевая. — Спи, спи, я на минутку... Я только капли возьму...

— Зачем вам?

— У бедной Лили опять спазмы. Спи, дитя мое, у тебя завтра экзамен...

Она достала из шкапчика флакон с чем-то, подошла к окну, прочла сигнатурку и вышла.

— Марья Леонтьевна, это не те капли! — услышал через минуту Володя женский голос. — Это ландыш, а Лили просит морфин. Ваш сын спит? Попросите его, чтобы он отыскал...

Это был голос Нюты. Володя похолодел. Он быстро надел брюки, накинул на плечи шинель и пошел к двери.

— Понимаете? Морфин! — объясняла шепотом Нюта. — Там должно быть написано по-латыни. Разбудите Володю, он найдет...

Матан открыла дверь, и Володя увидел Нюту. Она была в той же самой блузе, в какой ходила купаться. Волосы ее были не причесаны, разбросаны по плечам, лицо заспанное, смуглое от сумерек...

— Вот Володя не спит... — сказала она. — Володя, поищите, голубчик, в шкапе морфин! Наказание с этой Лили... Вечно у нее что-нибудь.

Матан что-то пробормотала, зевнула и ушла.

— Ищите же, — сказала Нюта. — Что стоите?

Володя пошел к шкапчику, присел на колени и стал перебирать флаконы и коробки с лекарствами. Руки у него дрожали, а в груди и в животе было такое ощущение, как будто по всем его внутренностям бегали холодные волны. От запаха эфира, карболовой

кислоты и разных трав, за которые он без всякой надобности хватался дрожащими руками и которые рассыпались от этого, ему было душно и кружилась голова.

«Кажется, татап ушла, – думал он. – Это хорошо... хорошо...»

— Скоро же? – спросила протяжно Нюта.

— Сейчас... Вот это, кажется, морфин... – сказал Володя, прочитав на одной из сигнатур слово «morph...» – Извольте!

Нюта стояла в дверях так, что одна нога ее была в коридоре, а другая в его комнате. Она поправляла свои волосы, которые трудно было поправить — так они были густы и длинны! — и рассеянно глядела на Володю. В просторной блузе, заспанная, с распущенными волосами, при том скудном свете, какой шел в комнату от белого, но еще не освещенного солнцем неба, она показалась Володе обаятельной, роскошной... Очарованный, дрожа всем телом и с наслаждением вспоминая о том, как он обнимал это чудное тело в беседке, он подал ей капли и сказал:

— Какая вы...

— Что?

Она вошла в комнату.

— Что? – спросила она, улыбаясь.

Он молчал и смотрел на нее, потом, как тогда в беседке, взял за руку... А она смотрела на него, улыбалась и ждала: что будет дальше?

— Я вас люблю... – прошептал он.

Она перестала улыбаться, подумала и сказала:

— Погодите, кажется, кто-то идет. Ох, уж эти мне гимназисты! – говорила она вполголоса, идя к двери и выглядывая в коридор. – Нет, никого не видно...

Она вернулась...

Затем Володе показалось, что комната, Нюта, рассвет и сам он — все слилось в одно ощущение острого, необыкновенного, небывалого счастья, за которое можно отдать всю жизнь и пойти на вечную муку, но прошло полминуты, и все это вдруг исчезло. Володя видел одно только полное, некрасивое лицо, искаженное выражением гадливости, и сам вдруг почувствовал отвращение к тому, что произошло.

— Однако мне нужно уходить, – сказала Нюта, брезгливо оглядывая Володю. – Какой некрасивый, жалкий... фи, гадкий утенок!

Как теперь Володе казались безобразны ее длинные волосы, просторная блуза, ее шаги, голос!..

«Гадкий утенок... – думал он после того, как она ушла. – В самом деле я гадок... Все гадок».

На дворе уж восходило солнце, громко пели птицы; слышно было, как в саду шагал садовник и как скрипела его тачка... А немного погодя послышалось мычанье коров и звуки пастушеской свирели. Солнечный свет и звуки говорили, что где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но где она? О ней никогда не говорили Володе ни татап, ни все те люди, которые окружали его.

Когда лакей будил его к утреннему поезду, он представился спящим...

«Ну его, все к черту!» – думал он.

Встал он с постели в одиннадцатом часу. Причесываясь перед зеркалом и глядя на свое некрасивое, бледное от бессонной ночи лицо, он подумал:

«Совершенно верно... Гадкий утенок».

Когда татап увидела его и ужаснулась, что он не на экзамене, Володя сказал:

— Я проспал, татап... Но вы не беспокойтесь, я представлю медицинское свидетельство.

М-ме Шумихина и Нюта проснулись в первом часу. Володя слышал, как проснувшаяся м-ме Шумихина со звоном открыла у себя окно, как на ее грубый голос ответила Нюта раскатистым смехом. Он видел, как отворилась дверь и из гостиной потянулась

к завтраку вереница племянниц и приживалок (в толпе последних была и татап), как замелькало умытое, смеющееся лицо Ньюты, а рядом с ее лицом черные брови и борода только что приехавшего архитектора.

Нюта была в малороссийском костюме, который совсем не шел к ней и делал ее неуклюжею; архитектор острил пошло и плоско; в котлетах, что подавали за завтраком, было очень много луку — так казалось Володе. Ему также казалось, что Нюта нарочно громко хохотала и поглядывала в его сторону, чтобы этим дать понять ему, что воспоминание о ночи нисколько не беспокоит ее и что она не замечает присутствия за столом гадкого утенка.

В четвертом часу Володя ехал с татап на станцию. Грязные воспоминания, бессонная ночь, предстоящее исключение из гимназии, угрызения совести — все это возбуждало в нем теперь тяжелую, мрачную злобу. Он глядел на тощий профиль татап, на ее маленький носик, на ватерпруф, подаренный ей Ньютою, и бормотал:

— Зачем вы пудритесь? Это не пристало в ваши годы! Вы наводите на себя красоту, не платите проигрыша, курите чужой табак... противно! Я вас не люблю... не люблю!

Он оскорблял ее, а она испуганно поводила своими глазками, всплескивала ручками и шептала в ужасе:

— Что ты, друг мой? Боже мой, кучер услышит! Замолчи, а то кучер услышит! Ему все слышно!

— Не люблю... не люблю! — продолжал он, задыхаясь. — Вы безнравственная, бездушная... Не смейте носить этого ватерпруфа! Слышите? А то я изорву его в клочки...

— Опомнись, дитя мое! — заплакала татап. — Кучер услышит!

— А где состояние моего отца? Где ваши деньги? Вы все промотали! Мне не стыдно своей бедности, но стыдно, что у меня такая мать... Когда мои товарищи спрашивают о вас, я всегда краснею.

На поезде пришлось ехать до города две станции. Все время Володя стоял на площадке и дрожал всем телом. Ему не хотелось входить в вагон, так как там сидела мать, которую он ненавидел. Ненавидел он самого себя, кондукторов, дым от паровоза, холод, которому приписывал свою дрожь... И чем тяжелее становилось у него на душе, тем сильнее он чувствовал, что где-то на этом свете, у каких-то людей есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная любви, ласк, веселья, раздолья... Он чувствовал это и тосковал так сильно, что даже один пассажир, пристально поглядев ему в лицо, спросил:

— Вероятно, у вас зубы болят?

В городе татап и Володя жили у Марьи Петровны, дамы-дворянки, которая нанимала большую квартиру и от себя сдавала ее жильцам. Матап нанимала две комнаты: в одной, с окнами, где стояла ее кровать и висели на стенах две картины в золотых рамах, жила она сама, а в другой, смежной, маленькой и темной, жил Володя. Тут стоял диван, на котором он спал, и кроме этого дивана не было никакой другой мебели; вся комната была занята плетеными корзинами с платьем, картонками от шляп и всяким хламом, который для чего-то берегла татап. Уроки приготовлял Володя в комнате матери или в «общей» — так называлась большая комната, куда все жильцы сходились во время обеда и по вечерам.

Вернувшись домой, он лег на диван и укрылся одеялом, чтобы унять дрожь. Картонки от шляп, плетенки и хлам напомнили ему, что у него нет своей комнаты, нет приюта, где бы он мог спрятаться от татап, от ее гостей и от голосов, которые доносились теперь из «общей»; ранец и книги, разбросанные по углам, напомнили ему об экзамене, на котором он не был... Почему-то совсем некстати пришла ему на память Ментона, где он жил со своим покойным отцом, когда был семи лет; припомнились ему Биарриц и обе девочки-англичанки, с которыми он бегал по песку... Захотелось возобновить в памяти цвет неба и океана, высоту волн и свое тогдашнее настроение, но это

не удалось ему; девочки-англичанки промелькнули в воображении, как живые, все же остальное смешалось, беспорядочно расплылось...

«Нет, здесь холодно», – подумал Володя, встал, надел шинель и пошел в «общую».

В «общей» пили чай. За самоваром сидели трое: татап, учительница музыки, старушка в черепаховом рince-nez и Августин Михайлыч, пожилой, очень толстый француз, служивший на парфюмерной фабрике.

— Я сегодня не обедала, – говорила татап. – Надо бы горничную послать за хлебом.

— Дуняш! – крикнул француз.

Оказалось, что горничную услала куда-то хозяйка.

— О, это ничего не означает, – сказал француз, широко улыбаясь. – Я сейчас сам схожу за хлебом. О, это ничего!

Он положил свою крепкую, вонючую сигару на видное место, надел шляпу и вышел. По уходе его татап стала рассказывать учительнице музыки о том, как она гостила у Шумихиных и как хорошо ее там принимали.

— Ведь Лили Шумихина моя родственница... – говорила она. – Ее покойный муж, генерал Шумихин, приходится кузеном моему мужу. А сама она урожденная баронесса Кольб...

— Матап, это неправда! – сказал раздраженно Володя. – Зачем лгать?

Он знал отлично, что татап говорит правду; в ее рассказе о генерале Шумихине и урожденной баронессе Кольб не было ни одного слова лжи, но тем не менее все-таки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем.

— Вы лжете! – повторил Володя и ударил кулаком по столу с такой силой, что задрожала вся посуда и у татап расплескался чай. – Для чего вы рассказываете про генералов и баронесс? Все это ложь!

Учительница музыки растерялась и закашляла в платок, делая вид, что она поперхнулась, а татап заплакала.

«Куда уйти?» – подумал Володя.

На улице он уж был; к товарищам идти стыдно. Опять некстати припомнились ему две девочки-англичанки... Он прошелся из угла в угол по «общей» и вошел в комнату Августина Михайлыча. Тут сильно пахло эфирными маслами и глицериновым мылом. На столе, на окнах и даже на стульях стояло множество флаконов, стаканчиков и рюмок с разноцветными жидкостями. Володя взял со стола газету, развернул ее и прочел заглавие: «Figaro»... Газета издавала какой-то сильный и приятный запах. Потом он взял со стола револьвер...

— Полноте, не обращайтесь внимания! – утешала в соседней комнате учительница музыки татап. – Он еще так молод! В его годы молодые люди всегда позволяют себе лишнее. С этим надо мириться.

— Нет, Евгения Андреевна, он слишком испорчен! – говорила татап нараспев. – Над ним нет старшего, а я слаба и ничего не могу сделать. Нет, я несчастна!

Володя вложил дуло револьвера в рот, нащупал что-то похожее на курок или собачку и надавил пальцем... Потом нащупал еще какой-то выступ и еще раз надавил. Вынув дуло изо рта, он вытер его о полу шинели, оглядел замок; раньше он никогда в жизни не брал в руки оружия...

— Кажется, это надо поднять... – соображал он. – Да, кажется...

В «общую» вошел Августин Михайлыч и хохоча стал рассказывать о чем-то. Володя опять вложил дуло в рот, сжал его зубами и надавил что-то пальцем. Раздался выстрел... Что-то с страшною силою ударило Володю по затылку, и он упал на стол, лицом прямо в рюмки и во флаконы. Затем он увидел, как его покойный отец в цилиндре с широкой

черной лентой, носивший в Ментоне траур по какой-то даме, вдруг охватил его обеими руками и оба они полетели в какую-то очень темную, глубокую пропасть.

Потом все смешалось и исчезло...

1887